

«Для меня не существует писателей начинающих и продолжающих. Писатель – или он есть, или его нет. Мария Метлицкая – есть».

Виктория Токарева



Мария  
Метлицкая

Машкино  
счастье

**Мария Метлицкая**  
**Машкино счастье (сборник)**  
**Серия «За чужими окнами»**

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=599937](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=599937)*

*Марина Метлицкая. Машкино счастье: Эксмо; Москва; 2011  
ISBN 978-5-699-48072-2*

**Аннотация**

Почему одни счастливы, а другие несчастны?

И вообще – что такое счастье? Кто-то довольствуется малым – и счастлив.

Кто-то стремится к недостижимому и всегда несчастен.

Среди героев этой книги есть и те, и другие.

Наверное, дело в том, что счастливые вовремя осознали: жизнь – не борьба, а награда.

# Содержание

Жить, чтобы жить	4
Божий подарок	30
Добровольное изгнание из рая	38
Закон природы	47
Зика	54
Испуг	63
Конец ознакомительного фрагмента.	68

# Мария Метлицкая

## Машкино счастье

### Жить, чтобы жить

Катя прибилась к нашей семье в далеких шестидесятых, когда наша бабушка была еще вполне в силе, родители были молоды и здоровы и снимали большую, старую и уютную дачу в Ильинском. На даче, конечно же, настояла бабушка. Допустить, чтобы все пыльное московское лето девочки провели в городе, она не могла. Все бытовые невзгоды бабушка сносила, впрочем, как и все остальное, мужественно. Ради одного святого дела – девочки должны быть на свежем воздухе.

В те годы, правда, с большим трудом, но все же можно было найти молочницу – коров тогда еще держали и в ближнем Подмосковье. Все лето мы с сестрой пили теплое парное (брр-р!) молоко и ели свежие, только из-под курицы яйца. Бабушка четко следовала программе: главное – здоровье детей, восстановить его всеми силами, невзирая на равнодушие молодых и бестолковых родителей и возражения собственно детей. В детстве мы с сестрой были еще очень дружны – да что за разница в один год! Это потом у нас появились разные интересы и разные взгляды на жизнь. А в те го-

ды у нас еще были общие куклы, маленькие алюминиевые мисочки и кастрюльки, в которых мы с упоением варили щи из подорожника и компот из рябины. Среди кукол у нас тоже были свои фаворитки. Я, например, больше любила кудрявую и розовую «немку», блондинку Зосю, а сестра выбрала брюнетку Элеонору, умевшую пищать невнятное «мама», если ее сильно опрокинуть назад. На даче, конечно, был абсолютный рай: целыми днями мы играли в старом, почти заброшенном саду, и бабушка нас звала только на обед, после которого следовал обеденный отдых, с обязательной книжкой, потом компот с печеньем – и мы опять на свободе. Теперь уже до самого ужина.

Хозяйка дачи приезжала только раз в месяц – за деньгами. Родители появлялись в пятницу вечером, после работы. В общем, всю неделю – свобода. Хотя за калитку нас не выпускали, мало ли что? Но когда игры и кукольные обеды нам смертельно надоедали, мы висели на шатком заборе и приставали к прохожим. Тогда мы и познакомились с Катей.

Сначала мы увидели, как маленькая девочка с трудом тащит большой оранжевый, в белый горох, бидон, и, конечно, заинтересовались его содержимым. Девочка остановилась, поставила бидон на землю, тяжело вздохнула и объяснила нам, что в бидоне подсолнечное масло. Еще она сказала, что зовут ее Катей и что живет она в поселке постоянно, круглый год, с бабушкой. А родителей ее «черти носят по свету». Мы слушали все это открыв рты. Особенно про «черти но-

сят». И пригласили Катю в гости. Она кивнула и деловито сказала, что сейчас отнесет бидон, а то «заругается бабка». И еще ей надо покормить кур и подмести избу, а уж потом, после всех этих важных дел, она может и зайти к нам. Такое количество дел и важный и обстоятельный Катин тон вызвали у нас, у праздных бездельниц, безграничное уважение. Мы слезли с забора и с жаром принялись обсуждать нашу новую знакомую. Во-первых, бабушку она называет бабкой. Мы сделали выводы. Старуха эта наверняка очень злобная. Да и к тому же как она эксплуатирует бедную сироту! Во-вторых, мы отчаянно позавидовали Катиной свободе. Нас на станцию одних не пускали. А сколько там было всего интересного... Крошечный рынок под ветхим навесом, где бабульки в платочках продавали мелкую морковку с зелеными хвостиками, большие, мятые соленые огурцы и семечки в кульках. А страшного вида мужики раскладывали на газете кучками мелкую серебристую рыбешку – плотву и карасей. Кучка – рубль. Бабушка покупала эту «мелочь» и жарила рыбку к приезду родителей. Отец ее обожал и называл «сухарики». К тому же на станции был длинный стеклянный магазин с названием «Товары повседневного спроса». Спрос тех времен был невелик, но даже эти скудные и убогие прилавки казались нам с сестрой сказочным царством – безвкусные заколки, расчесочки, убогие пуговицы, капроновые и атласные ленты, грубые толстые чашки, нелепые пластмассовые игрушки, пыльные ковровые дорожки, аляповатые ка-

стриули, блеклые торшеры на тонких ногах. И мы обязательно канючили и что-то выпрашивали у бабушки – заколку, которая ломалась через полчаса, или резиновый мячик, который умудрялись потерять в тот же день. Еще на станции стояла круглая, с облупившейся на боках желтой краской бочка с квасом и рядом тележка с мороженым. Мы выклянчивали у бабушки эскимо на палочке в серебристой обертке и, конечно, выпивали по большой граненой стеклянной кружке кваса. От кваса наши детские животы раздувались, как воздушные шары, и мы были счастливы. Но бабушка ходила на станцию редко, ворча, что это мы бездельницы, а у нее и так дел невпроворот.

Катя пришла к нам в тот же день, как и обещала, спустя пару часов. Маленькая, крепкая, на плотных не по-детски ногах, с серыми, мышинными волосиками в хвост и редкой челкой. В блеклом, застиранном ситцевом платице и потертых босоножках на босу ногу. Бабушка пристально оглядела Катю и, тяжело вздохнув – было время обеда, – позвала ее за стол.

Катя не отказалась, «спасибо» не сказала, а только с достоинством кивнула и удобно уселась на табуретку, жадно пожирая глазами стол. На столе стоял обычный для нас обед: винегрет, тертая морковь с яблоками, холодный борщ и котлеты с картошкой.

– Праздник у вас? День рождения? – спросила Катя. Мы удивились и переглянулись.

– Почему праздник?

– На буднях так питаетесь? – теперь удивилась Катя.

Мы недоуменно переглянулись, а бабушка опять тяжело вздохнула.

После киселя с печеньем мы пошли в сад, где отец построил нам маленький шалаш из досок и веток. Там у нас стояли стол с низкой скамеечкой, детская игрушечная плита и две кукольные кровати. Катя вытащила из кроватей Зосю и Элеонору, долго трогала их блестящие синтетические волосы, поднимала им платья, с удивлением разглядывала кружевные кукольные трусики и резиновые туфельки с носочками. Мы начали играть. Катя со всем соглашалась, подчинялась нам и выполняла все поручения, которые строгим голосом диктовала ей моя старшая сестра. А потом бабушка позвала нас читать.

Читали мы сначала по очереди вслух, а потом еще час – про себя.

– Я вас в саду подожду, – предложила Катя, не выпуская кукол из рук. Она, видимо, представила, как она будет два часа полноправной хозяйкой в шалаше в наше отсутствие.

Но бабушка сказала строго:

– Иди, Катя, домой.

– Завтра приходить? – с надеждой спросила она.

Мы с сестрой растерянно переглянулись. С Катей нам было совершенно неинтересно, и к тому же вполне хватало общества друг друга. Но разве мы, благовоспитанные девочки,



могли ответить «нет»?

– Странная какая-то, – обсуждали мы Катю перед сном, лежа в кроватях.

– И вообще, зачем она нам нужна? – вредничала сестра. Она с детства уже была прагматична.

– Пусть ходит, – милостиво разрешила я. – Жалко ее как-то.

И Катя стала приходить к нам с завидным постоянством. Просовывая крепкую маленькую ладонь в щель забора, она сама открывала калитку и, если мы были заняты, тихо сидела в саду на скамеечке и ждала нас. Однажды мы застали ее в нашем шалаше – она играла с куклами, не замечая нас.

– Положи на место, не твое! – крикнула сестра.

Катя вздрогнула и бросила куклу. В глазах у нее появились слезы. Мне стало жалко ее, и я протянула ей свою любимую Зосю.

– Хочешь, возьми, – предложила ей я.

– Насовсем? – тихо прошелестела Катя.

Я благородно кивнула. Сестра покрутила пальцем у виска. Катя быстро схватила куклу и бросилась к калитке, видимо, боясь, что я передумаю. К нам она не приходила три дня. На выходные приехали родители. Сестра рассказала им про куклу. Бабушка возмущалась, а мама отмахнулась: мол, оставьте ее в покое. За что ее ругать? За благородный человеческий порыв?

Отец, правда, тоже был согласен с бабушкой и объяснял

мне, что все наши вещи куплены на родительские деньги и уж, по крайней мере, советоваться мы со взрослыми должны. Зачем они сыпали соль на мою рану? Я и так не спала по ночам, вспоминая мою прекрасную белокурую Зосю.

Господи, сколько потом я всего теряла в своей жизни! Но, пожалуй, ничего мне так не было жаль, как ту глупую немецкую резиновую куклу.

Катя ходила к нам все лето. Она рассказывала страшные истории про своих «непутевых» родителей, завербовавшихся на Север за «длинным рублем», любящих выпить и повеселиться. Про дядьку-алкаша, гонявшего свою бедную семью с топором по двору, про соседку Нинку, которая «дает» за стакан.

– Что дает? – спросили мы.

– То самое, – коротко ответила Катя.

Про «то самое» мы спросить уже не решились, видимо, постеснявшись своей безграмотности.

Все это было для нас и непонятно, и ново и вызывало какой-то (мы чувствовали) нехороший интерес. Катю, успевшую нам уже изрядно поднадоесть, мы все же принимали и просили рассказать еще что-нибудь. Из области неизвестного. В конце лета мама собрала какие-то наши вещи – платья, кофточки, гольфы. Сложила все это в сумку и отдала Кате. Катя вытащила по очереди вещи из сумки, придирчиво и внимательно осмотрела их, потом все сложила обратно и, гордо кивнув, важно удалилась. Сумка сильно оттягивала ей

руку. «Спасибо» она, по-моему, так и не сказала.

– Обстоятельная какая! – смеялась мама. – А вообще-то бедная девочка. Ну в чем она виновата? Кто ее воспитывал?

Тогда я поняла: основная мамина черта – великодушие. Жизнь это впоследствии подтвердила не раз.

Отец тогда, правда, заметил, что подружки у нас могли бы быть и поинтереснее.

Весь год о Кате мы не вспоминали – нам было не до того, а когда снова пришло лето, наша старая знакомая опять возникла. В куклы играть нам было уже неинтересно, да и у нас появилась новая дачная компания. Мальчик Вова, который играл на кларнете, и девочка Нелли, дочь известных художников. Нас уже выпускали за калитку. И на станцию за мороженым мы бегали одни, и в гости к новым друзьям уже тоже ходили без бабушки. А Катя, Катя оставалась при нас, нашим неотъемлемым придатком, нашим бессловесным пажом, нашей тихой тенью, сопровождавшей нас повсюду. Вроде бы она не особенно мешала, но сильно раздражала – это точно. И своим убогим видом, и вечным усердным молчанием, и, как мы теперь стали понимать, непроходимо глупыми и неприглядными историями. Но она от нас не отличалась, видимо, искренне считая нас своими близкими подругами. Прогнать ее мы уже не могли.

К себе она нас никогда не приглашала, но все же однажды мы заявили к ней сами, без приглашения. Любопытство взяло верх. Мы увидели старый, убогий дом-развалюху,

и неопрятный двор, и маленькую неряшливую старуху – ту самую «бабку», и молодую полную женщину в помятом платье, спавшую под яблоней с открытым ртом.

– Мамка загостилась, – смущенно объяснила Катя. И тихонько стала нас выпроваживать.

Постепенно дачу мы полюбили и даже стали бояться, что хозяйка Елена Сергеевна может нам в ней отказать. Но этого, слава Богу, не происходило, и в конце мая мы заезжали опять. Теперь у нас образовалась большая теплая и душевная компания – поездки на велосипедах на озеро, игра в кинга, гитары, песни и, конечно, романы. Мы с сестрой здорово вытянулись и превратились в самых высоких девочек в классе, даже стеснялись своего роста. Это сейчас он был бы предметом гордости и больших карьерных перспектив, а тогда...

А вот Катя оставалась такой же маленькой, приземистой, только стала как-то еще шире в плечах и полнее в ногах. Теперь мы говорили только о мальчиках, придумывали небылицы и отчаянно выпендривались друг перед другом. Катю это, кажется, совсем не интересовало.

В девятом классе мы отказались от дачи – бабушке это стало не под силу, и нас отправили в лагерь на море. Там все закрутилось с удвоенной силой – свидания, поцелуи, расставания, дружба «навсегда». Но в последнее школьное лето дачу пришлось снять снова – теперь уже больше из-за бабушки, которая после болезни была очень слаба, и уже мы стали ухаживать за ней. А сами мы в даче не нуждались, воспри-

нимая ее теперь почти как наказание – в Москве было, разумеется, гораздо интереснее.

Тогда, в то последнее школьное лето, Катя возникла вновь – коротенькая, почти квадратная, без какого-либо намека на талию. Волосы она теперь коротко стригла, но, тонкие и прямые, они не слушались ни расчески, ни щипцов, и сестра, всегда острая на язык, смеялась над Катей, говоря, что похожа она на соломенного страшила из «Волшебника Изумрудного города». И в этом была своя правда.

И тут от Кати появился вполне реальный толк – когда нам надо было сбежать в Москву на свидание, Катя оставалась приглядывать за бабушкой. Грела ей обед, выводила посидеть в сад в старом плетеном кресле. Бабушку Катина забота тяготила, но она терпела, понимая, что стала обузой для нас, молодых девиц. И, вздыхая, отпускала нас, покрывая тайные побеги перед родителями. В награду мы привозили Кате туземные пластмассовые заколки из привокзального киоска, перламутровую помаду, купленную у цыганок в переходе, или колготки с ажурным рисунком. Катя все внимательно рассматривала, с достоинством перебирала и уносила с собой. Так задешево мы покупали свободу и убаюкивали беспокойную совесть.

Осенью, съезжая с дачи, мы опять оставили Кате ненужные вещи – старые джинсы, куртки, остатки косметики – и прочно забыли о ней еще на один год.

Потом мы поступили в институт: я – в текстильный на

тогда еще не очень модный факультет моделирования женской верхней одежды, а сестра – в экономический. Началась развеселая пора – студенческая жизнь. Дома мы старались бывать как можно реже – там теперь было совсем грустно и уныло. Тяжело ходила бабушка, уже почти совсем ослепшая. Мама разрывалась между работой и домом, а мы, молодые и здоровые эгоистки, были увлечены своими страстями и такими важными, как нам казалось, делами.

И тут на нашем горизонте снова возникла Катя. На сей раз с чемоданом в руках. Она пила на кухне чай и обстоятельно и деловито рассказывала маме о планах на жизнь – бабка ее померла, непутевая мать опять моталась по свету, а Катя решила устраивать свою жизнь. Наша мама советовала ей получить хорошую специальность повара или парикмахера. Катя кивала и подробно выпрашивала, какая из профессий более доходная. Остановились на кулинарном училище.

– При продуктах все же, – вздохнув, сказала Катя.

Она подала документы, устроилась в общежитие. Заходила она к нам теперь совсем редко, раз-два в месяц. Мы с сестрой бросали ей «привет» и дежурное «как дела?» и убегали в свою распрекрасную жизнь. Она же общалась с нашей мамой, долго пила на кухне чай вприкуску, шумно прихлебывая, и подробно рассказывала о своем житье. Жилось в общежитии ей совсем несладко – драки, скандалы, вечные пьянки. Уж чего только она не навидалась за свою молодую жизнь, но даже она не могла к этому привыкнуть.

А потом окончательно слегла совсем ослепшая бабушка. Мать рвалась между домом и работой, отец старался приходить как можно позже. А мы, молодые нахалки, помогали урывками и кое-как. Как-то получилось, что мама отдала Кате связку запасных ключей и она забегала днем покормить или переодеть бабушку. Заодно что-то подстирывала, прибирала и даже пыталась приготовить ужин. Мать, конечно, подбрасывала ей денег. Но Катя сначала отказывалась, объясняя свою помощь своим же интересом:

– Я у вас тут душой отдыхаю, днем посплю часок в тишине, чайку попью.

Но деньги потом стала брать, да и подарки тоже – что, впрочем, вполне естественно. Теперь Катя отстаивала шестичасовые очереди в универмаге «Москва» за финским стеганым пальто, австрийскими сапогами на каблуке, югославским костюмом из ангорки... Правда, это помогало мало – несмотря на модные тряпки, Катя оставалась все-таки приезжей. Воистину: девушка может уехать из деревни, а вот деревня из девушки... К тому же в свои двадцать с небольшим она была уже вполне тетка – на вид Кате можно было дать и тридцать, и сорок.

Само собой получилось, что она чаще и чаще оставалась у нас ночевать. Спала в бабушкиной комнате – и это было всем очень удобно. Вставала позже нас, когда мы, уже выпив кофе, прихорашивались в прихожей, готовые к бурному дню. Старалась не попадаться на глаза, не путаться под ногами. И

со временем абсолютно подладилась под нашу жизнь.

Первой замуж выскочила сестра – все как положено, по праву старшей. Муж ее был студентом консерватории из очень интеллигентной, зажиточной и известной азербайджанской семьи. Его родители – а власть их была очень сильна – настояли на переезде молодых в Баку. Сестра долго сопротивлялась, но все же перевелась в бакинский вуз и подхватила за мужем. Был он записной восточный красавец – высокий, черноглазый, с маленькими жесткими усиками и прекрасными тонкими руками музыканта. Семья мужа приняла сестру настороженно, все очень переживали, что старший (и главный!) сын женился на иноверке. Но в запасе были еще два сына и дочь – в общем, смирились. Свадьбу гуляли три дня, как положено, шумную и роскошную, со всеми атрибутами Кавказа. На свадьбу мы с отцом приехали вдвоем – мать осталась с бабушкой, у Кати были какие-то экзамены. Из Баку мы уезжали с неподъемными баулами – вино, фрукты, цветы. Все, чем одарила нас щедрая восточная родня.

Дома без сестры было невыносимо грустно и одиноко. Зато была Катя. Она потихоньку перевезла из общежития свой нехитрый скарб и стала жить у нас постоянно. В родном доме я тоже долго не задержалась – через полтора года вслед за сестрой ушла «в замуж», как говорила Катя. Впрочем, не совсем так: любимый мой был женат и имел двоих детей, но с женой не жил, оставив ей свою квартиру, а жил в полуподвале мастерской на Кировской. Он был скульптор. В эту ма-



стерскую перебралась и я. Быт наш был скуден и убог: маленькая, плохо отапливаемая мастерская без горячей воды, я студентка, да и его заработки были невелики и к тому же от случая к случаю. Мы бедствовали, но, как водится, в молодости это не воспринимается трагически. К тому же мы были страстно влюблены друг в друга и потому совершенно счастливы.

Умерла бабушка, и на похороны приехала моя глубоко беременная сестра. Ночами мы вели с ней бесконечные разговоры, и она призналась, что стала покорной мусульманской женой – обеды, уборки, бесконечные родственники, преимущественно мужского пола, где она постоянно подает, убирает и опять подает. Она тихо, чтобы не узнали родители, плакала и говорила о том, как ей ох как несладко. Хотя в бытовом плане проблем не было никаких: прекрасная квартира, машина, деньги. Говорила, что очень любит мужа, но все-таки попала в чужой мир, где многое ей непонятно и чуждо, но менять свою жизнь она не может и, скорее всего, не хочет.

А я рассказывала ей о своей любви, о дырявых сапогах, штопанных колготках, пустой жареной картошке на ужин, о том, что мой любимый и не думает разводиться и что я не нашла общего языка с его детьми. И еще о том, что свою жизнь я не променяю ни на какую другую. Мы долго молча сидели обнявшись и обе горько плакали. Мы поняли, что наша юность и беззаботность безвозвратно ушли и мы стали совсем взрослыми женщинами, каждая со своей непростой

судьбой.

На похоронах и поминках вовсю хозяйничала Катя, тихо и четко давая всем распоряжения – работягам на кладбище, соседкам, накрывавшим поминальный стол и пекшим традиционные блины – в общем, было ясно, что она здесь хозяйка. Теперь Катя жила в нашей бывшей с сестрой комнате, и было странно видеть там ее вещи – кружевные, вязанные крючком салфетки, горшки с фиалками, кулинарные книги, портреты артистов на стене. Словом, ее порядок и ее представление об уюте.

– Зажилась она тут у вас, мам, – жестко сказала сестра.

– Что ты! – испуганно всполошилась мать. – Я без нее бы пропала! Все хозяйство на ней – и стирка, и уборка, и магазины. Столько лет она бабушку тянула! А пироги какие печет – отец оторваться не может. Я только Бога молю, чтобы она от нас не ушла, замуж не выскочила. Эгоизм, конечно, но мы без нее пропадем.

– Да не придумывай! – усмехнулась сестра. – Жили как-то и без нее, не пропали. А теперь ее вообще отсюда не выпрешь, прижилась накрепко, – зло добавила она.

В те дни Катя нам постелила в бабушкиной комнате, четко обозначив свое место в нашей семье. Сестра возмутилась, а я миролюбиво сказала:

– Ладно тебе, родители не молодеют, ты далеко, я в своих проблемах... Черт с ней, пусть живет, и матери полегче, да и положи руку на сердце весь воз проблем она тащит на

себе. Из нас с тобой помощницы никакие. И мне тоже так спокойнее.

– Нет, – отвечала сестра. – Мне это не нравится, она уже здесь хозяйка, неужели ты это не чувствуешь?

А вскоре тяжело заболела мама. Диагноз оказался страшным и необратимым – рассеянный склероз. Редкое заболевание у женщин после пятидесяти. У нее начали дрожать руки и ноги, она стала слепнуть, а потом и вовсе перестала вставать – развился частичный паралич. Я прибегала после работы, но все уже было сделано – постель чистая, мать подмыта и накормлена, а на плите отца ждал горячий ужин. Катя, как всегда, была сурово-сдержанна, скупа на слова и деловита. Мне она только протягивала заключения врачей и рецепты. Научилась делать уколы. За мать я была спокойна – лучшего ухода и представить невозможно, а к горю и к болезни все постепенно привыкли. Конечно, где-то глубоко внутри точила совесть – при двух здоровых дочерях за матерью ухаживает посторонний человек. Впрочем, посторонней Катя уже не была.

Тяжелая болезнь матери иногда давала передышку. Отец много работал и по понятным причинам старался бывать дома реже. Но ко всему человек привыкает, и постепенно ужас и паника отступили; все привыкли к тому, что мать тяжело больна, и смирились с этим, радуясь временным и коротким улучшениям. Жизнь вошла в свой ритм и потекла уже по другому расписанию.

Прошло четыре года. Однажды вечером я, как обычно, забежала после работы к матери. Она, почему-то шепотом, попросила меня поменять ей постель и вынести судно.

– Катюше это уже тяжело, – объяснила мать.

– Что тяжело? – удивилась я. А когда я увидела Катю, то быстро все поняла.

Живот у нее был, если приглядеться, вполне заметный – месяца на четыре. Мы пили чай на кухне, и я увидела, что лицо ее расцвело коричневым пигментом, припухли губы и нос – словом, все признаки налицо. Я закурила и, помолчав, спросила:

– Замуж собралась?

– Нет, – ответила она. Короче не скажешь.

– Что «нет»? – разозлилась я. – Нагуляла? И где ты с ним, – я кивнула на Катин живот, – жить собираешься? Здесь гнездо совьешь?

Катя молчала.

– Что молчишь? – крикнула я. – Сама пристроилась и с ним, думаешь, не пропадешь. Люди мы хорошие, на улицу не выкинем. Да и куда мы без тебя, пропадем ведь, погибнем, не справимся, – зло иронизировала я.

А Катя молчала.

– Не выйдет у тебя ничего. Может, ты еще прописаться здесь задумала? Не слишком ли много на себя берешь?

– А ты не слишком мало? – наконец ответила мне она.

Но остановить меня уже было сложно.

– Ты что думаешь, мы сиделку матери не в состоянии нанять? Думаешь, без тебя наша жизнь закончится? Ничего, не помрем, не переживай! – кипела я.

Видеть ее почему-то было невыносимо.

Я зашла к матери:

– Мам, ну что происходит? Ну чему ты потакаешь? Сегодня она родит, а завтра папашу ребенка приведет, алкаша заводского, ты его тожепустишь? Она тут временно поселилась, временно, понимаешь? На черта нам все это надо? Ну, будет полегче с деньгами, найдем медсестру, ты же сама говоришь, что у нее рука тяжелая. – Я бессильно опустилась в кресло.

– Остынь, – тихо сказала мать. – Все останется как есть. Пока я жива, я здесь хозяйка. У вас своя жизнь, а у нас тут – своя. И решать это мне.

Я схватила куртку и выскочила на улицу. Во дворе я села на скамейку и попыталась взять себя в руки. Почему-то меня душила злость. Звонить сестре? Что ее тревожить? У нее своя жизнь, двое детей, другой город. Просить ее приехать? Глупо. Надо поговорить с отцом, осенило меня. Я позвонила ему – он, как всегда, был на работе допоздна – и сказала, что сейчас подъеду к нему. Он не удивился и не спросил, в чем дело. Я зашла к нему в кабинет и увидела, что он еще вполне хорош собой, седовлас и строен. И совсем не стар. Господи, подумала я, а ведь ему совсем несладко и совсем непросто.

Возмущаясь и сбиваясь, я твердила, что Катю надо выго-

нять сейчас, пока она не родила, потом будет сложнее. Нельзя допустить, чтобы из роддома она вернулась к нам, что потом мы не избавимся от нее вовек. И еще я говорила о том, что она внедрилась буром в нашу семью и стала, по сути, в ней хозяйкой и что виноваты во всем мы с сестрой, да-да, я это признаю, так всем нам было проще и удобнее, но пора остановиться, гнать ее, эту змею, которая вползла в наш дом, гнать именно сейчас, потому что потом будет поздно...

Отец ничего не отвечал, только молча курил, стоя у окна спиной ко мне.

– Что молчишь? – выкрикнула я. – Или тебе так тоже удобно и тебя это совсем не касается?

– Касается, – коротко ответил он. Потом, помолчав, добавил: – Мать права, пусть все останется как есть. Ничего изменить нельзя. Мать без нее уже не может.

– А ребенок? – тихо спросила я.

Отец мне не ответил.

Я выскочила из кабинета и пошла прочь. В конце концов, это их жизнь, успокаивала я себя. И их решение. Я не приходила туда два месяца. А что творилось у меня внутри! И злость, и вина, и обида, и все душевные муки, которые только могут быть в беспокойной человеческой душе. Теперь я звонила отцу, узнавала, как мать, и когда наконец решила прийти к ним, попросила отца, чтобы Кати не было дома.

– Она почти не выходит, – объяснил мне отец. – Состояние у нее не из лучших. Так что, если хочешь, приходи, а

условий мне не ставь.

Я, конечно, пришла. Мать плакала и гладила мне руки. В коридоре я столкнулась с Катей. Ну почему мне так невыносимо было видеть ее – тяжелую, опухшую, с большим, низким животом? Она опустила глаза и молча прошла мимо меня. Я сидела в комнате у матери, и мы молчали. Потом мать тихо сказала, вернее, попросила:

– Смирись, не мучь себя. Уже ничего не изменишь.

Я кивнула.

Спустя три месяца Катя родила здорового и крупного мальчика. Когда я приходила туда, ребенок мирно спал на балконе. А Катя опять крутилась между ним, матерью и кухней. В ванной висели голубые фланелевые пеленки, а на кухне стояли бутылочки со сцеженным молоком.

– Поди посмотри на мальчика, – тихо сказала мать.

– Мне это неинтересно, – отвечала я.

Болезнь матери уже не оставляла никаких надежд – она все больше дремала, совсем перестала читать и лишь изредка смотрела телевизор. На тумбочке у ее кровати, на дурацкой кружевной салфетке, связанной Катей, всегда лежало на блюде очищенное и разрезанное на дольки яблоко и стоял стакан компота.

В квартире был абсолютный порядок, мать лежала на белоснежном, накрахмаленном белье, и на плите всегда стоял обед из трех блюд. Конечно, я все это замечала и была способна оценить, но сделать шаг и начать общаться с Катей по-

чему-то не могла. Или, положила руку на сердце, не хотела. А мать рассказывала мне, что мальчик чудный и крепенький – тьфу-тьфу. И такая радость, когда Катя приносит его ей в комнату! Ты не переживай, это меня ничуть не беспокоит, наоборот, одни сплошные положительные эмоции.

– А что моя жизнь? – говорила мать. – Лежу, как болван деревянный, столько лет. Ни туда, ни сюда. Не живу и не умираю. Только всех мучаю. И освободить от себя не могу, – плакала бедная мать.

Младенца я увидела спустя полгода – забежав днем к матери. Он сидел в подушках на ее кровати, и она разучивала с ним нехитрые «ладушки». Мать смутилась, увидев меня, а Катя, быстро подхватив ребенка, выскочила из комнаты. Все, что я успела увидеть, – это то, что ребенок и вправду был хорош: гладкий, упитанный, розовощекий, с нежным светлым пухом на голове. Сердце мое сжалось – я была по-прежнему бездетна. Видя мое смятение, мать осторожно завела разговор:

– Чудный мальчик, правда?

– Не знаю, я в них не разбираюсь, – сухо ответила я.

Я покормила мать обедом и засобиравлась домой. Вновь видеть ни Катю, ни ребенка мне не хотелось.

Медленно, бульварами, я пошла к своему так называемому дому. На душе было пусто. Период романтики и страсти мы, увы, уже проскочили, и остались лишь убогий быт, неустроенность и вечная нехватка денег. Всю зиму я ходила



в осеннем пальто, подшив под него шерстяные платки, и в старых, латаных сапогах. Как следствие – вечно простуженная и раздраженная. Появились обиды и упреки и, конечно, взаимное недовольство друг другом. Я была вполне взрослая женщина, и мне хотелось стабильности, казавшейся мне синонимом счастья, – квартиры, семьи, ребенка, наконец. Наверное, в других обстоятельствах я бы вернулась к родителям, но возвращаться, по сути, мне было некуда. В общем, мне казалось, что я немолодая, тощая и загнанная лошадь, которая, обреченно и понуро опустив голову, бредет, спотыкаясь, по брenneй земле.

А через два года умерла мать – урологический сепсис. Врач, констатировавший смерть, сказал, что причина банальна. И добавил, что мать, слава Богу, отмучилась – сколько лет такой страшной жизни. На похороны прилетела сестра, ставшая совсем похожей на восточную женщину – крашенные в медный цвет волосы, черные одежды, крупные бриллианты на пальцах и в ушах.

Прилетела она с младшей дочкой, и девочка быстро нашла общий язык с Катиним сыном – они что-то строили из кубиков на ковре. На кухне опять хлопотала Катя. Сестра внимательно посмотрела на нее и спросила:

– Кого ждешь?

– Мальчика, – одними губами ответила Катя. И быстро вышла из кухни.

На похоронах отец не плакал. Да и кто его вправе судить?

Слишком долго и тяжело мать уходила. Человек ко всему привыкает. Все были к этому готовы. Жизнь есть жизнь. Только после поминок, когда мы с сестрой, обнявшись, сидели на мамином диване, он коротко бросил нам: «Помогите Кате». Я стала убирать со стола, а сестра пошла укладывать спать дочку. На кухне Катя мыла посуду.

– Ловко у тебя все получается, – усмехнулась я. – Теперь власть переменялась. Я-то тебя быстро выставлю, не сомневайся. Я не такая добренькая, какой была мать.

Катя развернулась ко мне и, глядя мне в глаза, твердо произнесла:

– Не выставишь, не надейся.

– Ну, это мы еще посмотрим, – пообещала я.

Катя вздохнула, вытерла о передник руки и достала из кармана конверт.

– Читай, – коротко бросила она.

Я открыла конверт и увидела листок из школьной тетрадки в линейку, исписанный крупным и кривым, словно детским, почерком. Я начала читать:

*Девочки мои! Не решалась сказать вам раньше – так мне легче.*

*Примите Катю и ее детей. Это – ваши братья. Не осуждайте отца – так сложилась жизнь. Катя ни в чем не виновата. И никто ни в чем не виноват. С квартирой, думаю, разберетесь по-людски. Там же ваша доля тоже. Катя продлила мне жизнь. Хотя она была мне уже не очень-то и нужна. Но есть как есть.*

*Решите все миром. Писать тяжело. Постарайтесь  
быть счастливыми. Очень вас прошу.*

*Мама.*

Я долго держала в руках этот тетрадный листок, пытаюсь понять. Сколько я просидела на кухне на табуретке и как вышла в холодную московскую осень, не помню. Отцу я не звонила долго, видеть ни его, ни Катю не хотелось. Да что там не хотелось – видеть я их просто не могла.

Потом изменилась и моя жизнь. Я познакомилась с человеком, от которого веяло спокойствием и надежностью. Был он математик и бельгиец по происхождению. Человек от точной науки, четко объяснивший мне всю перспективу нашей с ним дальнейшей жизни без богемного налета и неопределенности, от которых я очень устала, – где мне все было предельно понятно. Я вышла за него замуж, и мы засобирались на его родину.

Отцу я позвонила перед отъездом, за час до выезда в аэропорт, таким образом заранее отрезав себе пути к встрече. Говорили мы сдержанно и смущенно. Я спросила его о здоровье и доложила минимальную информацию о себе. В трубке я слышала детские голоса.

– Напиши хоть когда-нибудь, – дрогнувшим голосом сказал он напоследок.

В Москве я не была несколько лет, жизнь моя сложилась так, как я уже и не ждала, – жили мы дружно и тихо, наслаждаясь покоем и друг другом. Детей я так и не родила. С

сестрой мы часто и подолгу общались по телефону – для меня это, слава Богу, было доступно. И однажды решили приехать в Москву – повидаться и навестить могилу матери.

Мы заказали один отель и поселились в соседних номерах. Наутро поехали на кладбище. Мы стояли возле ухоженной могилы и молчали. Думаю, мы обе просили у мамы прощения. Ведь если бы все сложилось по-другому, ей бы не пришлось пережить всего, что она пережила. Если бы мы, ее дочери, были все годы рядом с ней. Мы, а не чужой человек, хотя, что греха таить, это нам было очень удобно. Это потом мы стали искать виноватых. С кладбища мы шли молча, а когда сели в такси, я назвала водителю адрес старой родительской квартиры.

Дверь нам открыла Катя – точно такая же, как много лет назад, только слегка располневшая. Несколько минут мы смотрели друг на друга, потом я сказала:

– Чаем напоишь? Мы жутко промерзли – совсем отвыкли от московских зим.

Катя словно очнулась и мелко закивала. Мы разделись и зашли в дом. Из комнаты вышел постаревший отец и беззвучно заплакал, прислонившись к дверному косяку. Мы обнялись втроем. Катя накрыла стол в комнате, и за него сели двое симпатичных мальчишек. Я подошла к ним и по очереди обняла их. Испуганные, они сидели тихо-тихо. Отец курил и молча наблюдал за нами. А потом вздохнул и сказал:

– Ну, слава Богу, вся семья в сборе. Садимся обедать!

Лучше не скажешь – вся семья в сборе. Ничего не попишешь – такая теперь вот у нас была семья. И слава Богу, что у нас хватило ума с этим смириться. Принять этот непростой пазл, который сложила жизнь и выкинула нам. Так, как было необходимо и мне, и сестре, – сейчас мы это понимали наверняка. И нашему отцу. Найти в себе силы начать со всем этим жить. Жить, чтобы жить, – и постараться быть счастливыми. Как просила нас мама.

# Божий подарок

Об этом Божьем подарке никто уже и не мечтал – ни сорокалетняя некрасивая Фира, измученная болезнями и двадцатилетними хождениями по врачам, ни сорокапятилетний Натан, неутомимый трудяга, давно смирившийся с болезнями любимой жены и своим несостоявшимся отцовством. Хотя кому-кому, если не им, должен был послать Бог дитя, да не одно, а как минимум троих. Им – трепетной и мягкосердечной Фире и Натану, крепко стоявшему на своих кривоватых ногах на этой грешной земле. Благополучие и достаток в семье он обеспечивал, а как же иначе? Натан был скорняк – своими короткими и толстоватыми исколотыми пальцами он шил легкие и пушистые шапки, да не просто убогие треухи, он был художником в своем деле. Например, легкую шапочку из белой норки он непременно украшал элегантным цветком из норки черной, а царственную соболиную – легким пером из крашеной лисицы. Это были не шапки, а шляпы и шляпки. Понятное дело, заказчиков была уйма. Трудился Натан от зари до позднего вечера, перетруждая свои подслеповатые глаза, и так подпорченные постоянным чтением Торы.

Фира многого не просила, но тогда была еще большая семья: Фирин брат-инвалид, одинокая сестра Натана в Тирасполе, старая тетушка в Риге. Натан держал в своих трудовых

руках всю эту семью.

О том, что она беременна, Фира узнала в октябре, после очередного грязевого курорта, последнего, как она решила, в ее жизни. Тошнило сильно почти все девять месяцев, живот был огромный, Фира страшно отекала, и лицо ее покрылось темно-коричневыми пятнами. И распух, без того не маленький, фамильный Фирин нос. Роды принимали лучшие профессора лучшего в те годы роддома. На ошибку права они не имели. Родилась девочка – крупная, толстенькая, с черным пухом на голове. Куколка. Натан таскал ее на руках ночи напролет – не дай Бог, пискнет! Измученная Фира лежала на высоких подушках, сцеживая молоко из изможденной груди, и счастливо и слабо улыбалась. Господь услышал! Не зря, не зря они молились и вели праведный образ жизни! Господь их услышал. Аминь!

Девочку называли Розочкой. Она и вправду была похожа на бутон – розовощекая, синеглазая, с россыпью нежных детских кудрей. Натан сходил с ума, покупая у спекулянтов кружевные платица, мутоновые шубки, свежие фрукты и черную икру. Розочке ни в чем не было отказа. «Мамелэ моя, кецелэ, цветочек мой», – шептал Натан.

– Ты губишь ребенка, – предупреждала его мудрая Фира. Как в воду глядела. Станные повадки образовались у Розочки рано, года в три: истерики с валянием на полу, бесконечные «хочу» и «не буду». Решили отдать в детский сад. Отрывали с кровью, но Розочка пришла в сад спокойно, дело-

вито оглядела поле брани и к действиям приступила немедленно.

Гадила она по-всякому: и изощренно, и так, походя. Например, не забывала плюнуть в суп соседке по столику, изуродовать красками нищие детсадовские обои и свалить это на других, бросить в чайник с какао парочку свежепеченных тараканов. Словом, старалась на славу – не скупилась. Родители возмущались, воспитательницы отказывались брать Розочку в свои группы, Фира рыдала, Натан скрипел зубами и исправно молился.

Из сада «ангелочка» пришлось забрать. Когда Розочке было лет семь, в большой коммуналке на Кировской стали пропадать деньги из случайно забытых сумочек. Сумочки стали лихорадочно прятать. Потом стала исчезать мелочь из карманов пальто и плащей.

– Боже, чего не хватает этому ребенку? – восклицала Фира и воздымала руки к небу. Натан все отрицал: не пойман – не вор. Вскоре девочку поймали с поличным: пропало старинное Фирино кольцо, бриллиант в черных эмалевых лапках – единственная память о матери, – а затем оно обнаружилось в кружевном розовом гольфике, спрятанном под подушкой.

Фира сидела, оцепенев, пару часов на диване, потом пошла к подруге-соседке, Павле Лаврентьевне. Рассказала всю правду о своей беде. Павла откликнулась:

– Бесы в ней, Фира, окрестить ее бы надо.

– Ты с ума сошла! Натан умрет, если узнает. А без его



воли я на это не пойду.

– Ну, жди, может, перерастет, – слегка обнадежила добрая Павла.

Фира пыталась с Розочкой разговаривать, но здесь ее долго не хватало:

– Как же так, Розочка, ну что тебе еще нужно? У тебя же все есть, детка!

Розочка молчала как партизан и догрызала остаток ногтей.

К пятнадцати годам она окончательно превратилась в писаную красавицу, но кто над этим умилялся? В девятый класс ее не взяли, пришлось идти в ПТУ на парикмахера. Розочка плевалась:

– Тьфу, в чужих вшах ковыряться!

ПТУ не окончила, связалась с дурной компанией – дворовые посиделки до утра под блатные песни, семечки, водка, мат... В шестнадцать сделала первый аборт, подпольный, но все прошло без сучка без задоринки. Через два часа после адской процедуры уже сидела во дворе и пила пиво. Несчастные родители об этом ничего, слава Богу, не знали. Натан страдал и болел. И то и другое он не умел делать вполсилы, впрочем, как и все остальное.

Умер Натан скоропостижно, от инфаркта, когда собственными руками взял у почтальона повестку в суд, где Розочка правда вначале проходила как свидетель. Но потом ее подельники ее же и заложили – какое-то дело об ограблении

продуктовой палатки на платформе Сетунь.

Фира суд и приговор – три года лагерей – выдержала. А потом слегла. После смерти Натана жить стало почти не на что, но все же умудрялась отправлять дочери скудные посылки, а вот ехать к Розочке уже не было сил.

Роза вернулась худая, высохшая, с поредевшими когда-то роскошными кудрями. Много курила, с матерью почти не общалась. На могилу к отцу не пошла:

– Не верю я во все это.

Устроилась на почту уборщицей, но убиралась грязно, и вытурили ее оттуда быстро. Куда устроиться? В анамнезе – тюрьма, все про нее всё знают. К кому обратиться? Старый приятель Натана, портной, взялся учить ее закройке. Но кроила Роза плохо, неряшливо, ткань не экономила. Опять ничего не вышло. Наконец устроили добрые люди в артель по пошиву тапочек. Там она, правда, задержалась, и у нее даже стало что-то получаться, когда нехитрый мех попал в руки, – гены Натана. Приходила домой измученная, выпивала чаю с хлебом и ложилась спать. Ночью вставала и много курила.

А тут случилась у Розочки роковая любовь с директором той самой тапочной артели. Это был цеховик средней руки, женатый, еще не старей. От любви Роза расцвела, засинели глаза, появился румянец. Теперь она много ела – Фирины бульоны с клецками и запеканки, раздалась в бедрах, опять стала смеяться и покупать себе яркие шелковые платья. Любовник повез ее в Сочи, и там случились и самые горячие

дни, и бессонные ночи. Розочка опять превратилась в красавицу. Фира плакала и молилась и часами рассказывала на могиле Натана о том, как все славно, и Розочкина работа, и про ее друга, хорошего человека (о том, что хороший человек был глубоко женат, Фира Натану не поведала), и про Черное море, и про яркие Розочкины платья и лаковые туфельки, и про хороший Розочкин аппетит.

– Успокойся, Натан, все у нас слава Богу! – кривила душой бедная Фира. Но счастье и ее призрачный покой были недолги. Жена Розочкиного артельщика их вычислила и, неразумная, написала на мужа донос – обо всех его делишках и, конечно, левых приработках. Не забыла и про Розочку, сделав ее соучастницей. Сел сам фигурант, и туда же попала Розочка – припомнили ей первую судимость.

Фира снова выжила и опять писала дочери письма. Натану про это она ничего не рассказала, просто молча прибирала могилу. Вернулась Розочка через четыре года, без зубов, разбитая, больная. Павла отпаивала ее зверобоем и прочими травами. А Роза опять пила крепкий чай и тянула папиросы. Есть почти не могла – желудок болел так, что часами валялась скрюченная на диване. Фира, уже почти слепая, протирала ей овощные супы и распаривала под подушкой каши.

Вот тогда-то и отвела соседка Павла Розочку в церковь.

– Креститься надо, дочка, не смотри на то, что ты другой веры, окрестись!

– Да какой я веры, тетя Паша? У евреев таких детей не

бывает, так что нет у меня ни нации, ни веры.

Крестила Павла Розочку в маленькой сельской церкви, где когда-то жила родня доброй Павлы и даже остался полу-сгнивший дом Павловой тетки. Розочке так понравилась деревня с названием Грибановка, и старый наследный Павлин дом, и заброшенный яблоневый сад, и маленькая, в один купол, церквушка, и отец Сергей – бездетный вдовец, человек мягкий и добросердечный! Тут впервые Розочку не ругали, не мучили и не причитали над ней. Ее просто жалели и ничего не хотели взамен. Розочка ездила в Грибановку два года и даже пела в хоре – у нее вдруг обнаружился не сильный, но глубокий голос и прекрасный слух. А на третий год она вышла замуж за регента церковного хора – человека немолодого, тихого и доброго, и перешла в его светлую избу в чем была – с легкой парусиновой сумкой через плечо.

Почти в сорок (Фирины гены!) она родила дочку, а через два года – еще и мальчика. Фиру она, конечно, забрала к себе, но помощница из матери была уже никакая. И еще Розочка научилась варить супы и печь пироги. Хозяйка она была неважная, но в доме царила чистота.

– Устала я от грязи, – говорила она.

Матерью она была трепетной, но строгой, больше всего боялась забаловать детей, а вот женой стала покорной и молчаливой.

Как-то старая Фира, предчувствуя, видимо, свой скорый конец, попросила дочь свозить ее в Москву, на кладбище к

Натану. Фира долго сидела на старой, почерневшей от времени скамейке и подробно рассказывала Натану про чудесную Розочкину жизнь, про внуков – Леночку и Толика, про заботливого Розочкиного мужа, про большой и светлый их дом, и даже про неудавшиеся Розочкины пироги – все с улыбкой на старом морщинистом лице, по которому текли бесконечные слезы. Только вот о том, что Розочка уже не Розочка вовсе, а называют ее после крещения Раисой, и что муж у нее – церковный регент, старая Фира Натану не сказала. Испугалась, что ли? Ну вот почему-то ей казалось, что из-за этого он все-таки расстроится. Или, может быть, она ошибалась?

# Добровольное изгнание из рая

Мать все умилялась: как же ты похож на отца. И это тоже раздражало. Прежде всего раздражало вечное материнское умиление – слишком много эмоций, слишком сладко, слишком высокопарно. Все – слишком, впрочем, как всегда. В матери всего всегда было в избытке. Павлику казалось, что родители совершенно не подходили друг другу, – какая сила их вообще столкнула и свела, пусть даже на недолгие совместные годы? Отец – вечный пример для подражания и скрытого детского восторга. Высок, смугл, худощав, с прекрасными черными волосами и карими глазами. Весь его облик навел на мысль о каких-то дворянских корнях или наследственной военной выправке. Но на самом деле ничего подобного не было, корни были самые обычные, рабочие – и откуда такие стать и аристократизм? Мать была внешне простовата, хотя хорошенькая, особенно смолodu. Белокурая, курносая, с распахнутыми голубыми наивными глазами. Роста она была небольшого, со смешными маленькими ладошками и совсем крохотными ступнями тридцать третьего размера. Но тоненькой была только в юности, а родив сына, прилично раздалась, особенно в бедрах. Однако миловидность, обычно к середине жизни исчезающая у женщин подобного типа, у нее все же осталась, совсем немного уступив место простоте. Была она болтлива и смешлива до крайности. Впрочем,

так же легко, как засмеяться, могла она и горько зарыдать. Умиляло ее все: и снегирь на ветке за окном, и немецкий резиновый пупс в витрине, похожий на младенца, и лохматая дворовая собака, и рассказ в последнем «Новом мире», и хрустальный голос Ахмадулиной по радио, и заварной эклер в кафе, и легкий цветастый сарафан, и бабочка павлиний глаз на дачном крыльце. Перечислять это можно было бесконечно. А выносить весь этот бесконечный и постоянный накал эмоций? Ну ладно, это ее дело. Но отец – технарь, человек расчетов и холодного ума. Ему каково? Павлик вспоминал, как отец морщился и пытался остановить мать: «Шура, довольно!» Потом они долго выясняли в спальне отношения, всхлипывала, потом смеялась мать, шумно втягивал носом и кашлял отец, долго куря на кухне, – а потом Павлик засыпал.

Ушел отец, когда Павлику было восемь лет. Объясняться с сыном нужным не посчитал, а через полгода встретил у школы и предложил зайти в его новый дом. Дома была и новая жена отца – Инесса Николаевна, отцовская сослуживица, из одной лаборатории. Ее твердый голос и строгий вид определенно внушали уважение. Была Инесса Николаевна совсем некрасивая, правда, высокая и стройная – в общем, то, что называется статью. Носила унылую прическу и грубоватые круглые очки. Была строга, но беспристрастна.

Павлик ее сначала испугался, но скоро понял, что бояться нечего, что совсем она не вредная, а скорее равнодушная.

Его она не очень-то и замечала, задавая дежурные вопросы про школу и отметки. В Инессиной квартире было мрачно-вато: никаких салфеточек, цветочков, картинок – всего того, чем украшала дом мать. Готовить Инесса не умела, подавала на ужин либо сосиски, либо пельмени. Причем варил их, как правило, отец, без возражений. Павлик обожал и то и другое, да многие ли дети любят трудоемкие домашние обеды?

Дома мать обычно тщательно его расспрашивала: что там у отца, как отец, что Инесса, чем кормили, о чем говорили? Павлик огрызался, злился, а мать обижалась и уходила к себе плакать. Ему было жаль мать, но сильнее была досада и даже злость за то, что не смогла удержать отца, а еще за то, что отпустила его легко и сразу, даже не устроив скандала. Продолжала восхищаться жизнью, правда, теперь реже и тише, и чаще плакала, закрывшись в ванной. Павлик всеми силами боролся с собой – его разрывало на части, он хотел зайти к матери и обнять ее, но побеждало другое, и он, стиснув зубы, злясь и раздражаясь на нее и себя, включал телевизор на полную громкость, только бы не слышать, не слышать и не пожалеть. Потом, отплакавшись, бросала: «Жестокий ты, в отца!» – и у нее светлели глаза и останавливался взгляд.

Замуж мать больше не вышла. Да что там замуж! За все эти годы Павлик не заметил даже подобия любовной истории в ее жизни. Отец иногда, впрочем, нечасто, заходил к ним – и мать была в эти дни особенно бестолкова и суетлива, варила любимый отцом фасолевый суп, пекла пироги с капустой,



но он сидел в комнате уже подросткового сына, пространно и неконкретно обсуждал будущее Павлика, а мать заглядывала и с заискивающей улыбкой предлагала им поужинать. Отец всегда смущался и отказывался, объясняя это тем, что дома ждет Инесса. И уже подростковый Павлик, слегка обиженный за мать, ехидно спросил его как-то, не удержавшись:

– Сегодня у вас сосиски или пельмени?

Мать со вздохом убирала кастрюльки в холодильник и опять плакала в ванной. Когда отец уходил, она обязательно говорила Павлику:

– Тебе не кажется, что отец сильно сдал?

– Не кажется, а тебе этого очень хочется? – хамил Павлик. Почему хамил? Сам не понимал. Мать он уже начал жалеть – первый признак того, что вырос, но по-прежнему стеснялся проявлять сочувствие. От стеснения, видимо, и хамил.

На Павликово восемнадцатилетие отец подарил ему часы «Полет» и объявил, что алименты закончились. Потом Павлик поступил в МАИ и через пять месяцев, в аккурат после первой сессии, привел в дом жену. Ее звали Лора, она была русская, но из Баку и смешно прибавляла к месту, а чаще невпопад слово «да» – в утвердительном, вопросительном и отрицательном смыслах. Это вот «да» страшно веселило Павлика. Была Лора высокая, почти длинная, с грустными глазами навывкате и длинной русой косой до пояса. Эта коса и ее постоянное забавное «даканье» Павлика и сразили. Была она из семьи военного, и свадьбу справляли в офицерской

столовой подмосковного военного городка. Отец с Инессой подарили громоздкий кухонный комбайн, и Лора заплакала, увидев на дне коробки товарный чек семилетней давности. А мать отдала Лоре свою единственную драгоценность – старое кольцо со слегка оплавленным темно-синим сапфиром. По семейной легенде, это кольцо перенесло какой-то пожар в конце девятнадцатого века.

Лора как-то сразу объявила, что двум хозяйкам на одной кухне будет точно тесно и что нельзя превращать совместную жизнь в ад. Мать собрала вещи и уехала жить к своей матери, старухе со скверным характером, в Томилино, где у той была половина дома – две комнаты и веранда, удобства во дворе. Приезжала мать теперь в свою квартиру три раза в неделю – сидеть с внучкой Машенькой, которую обожала. Против этих приездов Лора, конечно, не возражала – она пыталась вести «светскую» жизнь: консерватория, Зал Чайковского, Большой. Возвращались они поздно; после очередного концерта Лора делала томные глаза и говорила, что ей надо немного пройтись, все это «переварить», но никогда не предлагала свекрови остаться на ночь. Она вообще не любила причинять себе неудобства.

К отцу Павлик с семейством заезжал редко, примерно раз в полгода. Отец с Инессой писали учебник по физике для вузов и были страшно заняты. Отец сдержанно радовался внучке и дарил какие-то нелепые крупные пластмассовые игрушки, постепенно захламляющие квартиру.

А потом заболела Инесса. Положили ее в клинику Академии наук в Ясенева – больница неплохая, а вот ухаживать за ней было некому. Отец был занят по горло: учебник, кафедра, лаборатория. Лора? Кто мог рассчитывать на Лору? Инесса вела себя мужественно, боли терпела, сжав зубы, и, лежа на высоких подушках, продолжала что-то писать. Работала.

Когда об этом узнала мать, она встрепелась, засуетилась и стала принимать активное участие в болезни Инессы. Теперь она протирает супы из цветной капусты, лепила паровые котлеты и давила морсы из клюквы. Потом везла все это в судках и бидонах в больницу и, не заходя к Инессе в палату, передавала все это медсестре.

Инесса лежала в больнице полгода и умерла от инфаркта, слава Богу, не дожив до страшных болей. Отец плакал, был абсолютно растерян и беспомощен, и у него стали мелко трястись голова и руки. Все поминки сделала мать – накрыла столы, нарезала салаты, нажарила кур. Лора, скорбно поджав губы, предложила испечь торт. Мать несколько минут пристально смотрела на нее, а потом сказала: «Нет, Лорочка, не надо, это не ко времени». Похороны были многолюдные, все-таки Инесса была профессор и завкафедрой, но на поминки почему-то пришли немногие. Мать все беспокоилась, что не хватит еды, потом до трех ночи мыла посуду. Отец уснул в кабинете на диване, а матери пришлось лечь в спальне, на остывшее семейное ложе своего бывшего мужа.

Теперь она приглашала его в Томилино – отъестся, подышать воздухом, но он только отмахивался, мол, дел по горло. Однажды, передавая через Павлика вязаное кашне для отца, услышала едкое:

– Зря стараешься, у него роман с молодой разведенной лаборанткой.

Просто так сказал, чтобы его жалкая мать наконец-то навсегда распрощалась с иллюзиями и надеждой.

Брак Павлика с Лорой счастливым можно было назвать с большой натяжкой. Хозяйкой Лора была никакой, домом заниматься не любила, была очень расчетлива и даже скупа, деньги обожала, а вот в постели всегда уступала со вздохами и одолжениями. Через пару лет у Павлика появилась женщина, коллега, – мать узнала об этом от него же, так как он просил ее о комнате в Томилине, куда и приезжал со своей пассией.

– Бедная Лорочка! – причитала мать.

– Ну ты блаженная, Лорочку тебе жалко! А что хорошего в этой жизни тебе сделала эта Лорочка? – возмущался Павлик.

А потом мать неожиданно вышла замуж за брата своей томилинской приятельницы, отставного подводника, и уехала с ним в Эстонию, в маленький городок, где ему предложили работу в военном училище. Были молодожены вполне довольны жизнью, и на крошечной даче, уютной как игрушка, они выращивали на песке необыкновенные по величине и сладости помидоры. И конечно же, отправляли их в Москву

с проводником – вместе с копченой салакой и шоколадными эстонскими конфетами. А отец, одинокий отец, все чаще и чаще заходил к Павлику и очень привязался к подросшей внучке.

И однажды на кухне, в отсутствие вяловатой и претенциозной невестки, вдруг сказал сыну, что всю жизнь, оказывается, любил его мать, но жить с ней было невыносимо. Что не мог он сгорать в огне ее любви ежеминутно и ежечасно – как требовал ее темперамент, ну просто не мог отвлекаться на все это, иначе просто не стал бы тем, кем стал. А с Инессой все получилось, видимо, он все правильно рассчитал, бормотал отец. И еще, если быть честным до конца, если приоткрыть эту самую тайную тайну, все же он надеялся, что, может быть, они еще и сойдутся, ну, гипотетически это же могло быть, а? А она видишь как поступила, ну кто бы мог предположить? Ведь он на нее так рассчитывал... И еще что-то бормотал отец про те недолгие годы с матерью, когда был счастлив. Оказывается, он был счастлив только с ней.

Павлик сидел оглушенный. А когда прошел ступор, он начал кричать, громко, с надрывом, кашляя и задыхаясь:

– Как же ты мог, как мог? Такое натворить, так распорядиться и своей жизнью, и ее! Ты преступник, тебе нет оправдания, не ищи его! – А потом, еще что-то вспомнив, он запричитал шепотом, страшно: – А моей жизнью, как ты мог так распорядиться и моей жизнью? Заодно?

Он еще долго кричал и плакал, и по его небритому лицу

текли слезы.

Лицу совсем зрелого мужчины.

# Закон природы

Милочка Фролова, балерина в отставке, еще сохранившая статью и четкость спины, торопилась на деловую встречу. Ее крупно подвели Генсы, многолетние дачники, сообщив в мае, накануне дачного сезона, что снимать они в этом году не будут, так как всей своей большой семьей поднимаются и едут в Германию – насовсем. Милочка страшно расстроилась, не спала две ночи и много плакала. Во-первых, было жалко себя – любые новые хлопоты обычно вводили ее в транс, во-вторых, Генсы стали уже родными людьми: ключей на зиму она у них не забирала и дачную жизнь не контролировала – знала, что там и так все в порядке. Огородов они не разводили, жили весело с шашлыками и гитарами, обожали гостей и радостно приветчали невредную хозяйку, оставив за ней лучшую из комнат в большом старом доме. Если бы Милочкин муж умер в сознании, он был бы почти спокоен за свою хрупкую и нервную жену: осталась прекрасная старая дача в Валентиновке, полгектара земли и приличная трехкомнатная квартира на Остоженке. Богатство по нынешним временам. Но муж, когда-то крупный чиновник от Министерства обороны, здоровяк и крепыш, умер внезапно, от разрыва брюшной аорты, не понимая, что произошло. Без него, своего вечного поводыря, Милочка совсем растерялась, год убивалась, не знала, как жить дальше – без

опеки, заботы и денег, пока наконец умные люди не посоветовали ей сдать дачу – тут судьба и выбросила ей семейство Генсов. Заезжали Генсы рано, в конце апреля. Сначала вывозили двух старух – бабушку и ее бездетную сестру, а с мая уже приезжало все огромное семейство: трое детей, все женатые, с маленькими и уже подросшими внуками с кавалерами, периодически появлялись двоюродные и троюродные сестры и братья – словом, дом оживал и гудел как улей. Теперь надо было срочно искать новых дачников, конечно, своих, по знакомству – ведь это были единственные Милочкины деньги на всю долгую зиму. Кто говорит о крошечной пенсии бывшей балерины кордебалета?

Посодействовала соседка Софа: у ее дальней родственницы была уже сильно беременная дочь, которую оставлять в пыльной и жаркой Москве на лето было бы преступлением. С новыми предполагаемыми дачниками Милочка встречалась у метро «Университет». Серебристая иномарка новых дачников уже стояла у обочины, и Милочка, припарковавшись, подошла к машине. Навстречу вышел молодой мужчина среднего роста и представился: «Анатолий». В машине сидела молодая женщина, печальная и опухшая, с коричневыми пятнами на лице и внушительным животом.

Двинулись на двух машинах – Милочка впереди на своем издавшем виды «жигуленке». Въехали в поселок. Милочка открыла окно и стала вдыхать свежий после дождя дачный воздух. Долго осматривали дачу, ходили по участку вме-



сте с Анатолием, а его тихая жена сидела на стуле, вынесенном в сад. Потом говорили о цене, торговались и наконец сошлись. Милочка отдала им ключи и попросила завтра завезти ей аванс. Дело было сделано. Нормальные люди, приличные, по рекомендации, радовалась Милочка. Все, слава Богу, образовалось. А сколько нервов! Приехав домой, она выпила чаю с крекерами и уснула под пледом на диване – устала.

Анатолий объявился на следующий день – позвонил ближе к вечеру и попросил пару дней подождать с деньгами. Милочка, вздохнув, согласилась. Деньги он привез спустя неделю, опять заставив слабую Милочку понервничать. Она пригласила его зайти в дом и предложила кофе. Он выпил две чашки кофе с бутербродами и уходить, кажется, не собирался. Освоился и долго ходил по квартире, рассматривая Милочкины фотографии на стенах, антикварные часы с боем, старинные вазы и подсвечники – Милочкин покойный муж понимал в этом толк. Потом Анатолий сел в кресло с журналом и задремал. Милочка растерялась, долго мыла на кухне посуду, потом ушла в спальню и тихо, почти без звука смотрела телевизор. А потом Анатолий зашел к ней в спальню. Без стука. Без вступлений и разговоров взял ее, грубовато и напористо, Милочка лишь тихо поскуливала. Через час он уже храпел с открытым ртом, широко раскинув руки.

Милочка всю ночь не спала, бродила по квартире, пыталась осмыслить произошедшее, плакала, решила оскорбить-

ся, а потом вдруг оживилась, встрепенулась и сказала себе, что все это счастье и подарок судьбы, на который она уже и не рассчитывала. Успокоилась, вернулась в спальню, легла на край кровати и под утро уснула счастливым и спокойным сном.

Проснулась она, когда Анатолий уже шумно умывался в ванной. Вскочила к зеркалу, мазнула помадой по губам и пуховкой по носу, выхватила из шкафа свой самый лучший сиреневый в кружевах пеньюар и полетела на кухню. Когда Анатолий вышел из ванной, на кухонном столе стояли пышный омлет с сыром и укропом и полная турка кофе. Анатолий внимательно посмотрел на Милочку, а потом подошел и по-семейному чмокнул ее в щеку. Ел он медленно и с удовольствием, просил еще поджарить в тостере гренки и сварить еще кофе. В дверях он еще раз клюнул Милочку в щеку и сказал:

– До вечера!

Бог мой! До вечера! Могла ли она мечтать! У нее началась новая, совсем другая жизнь! До вечера! Милочка засуетилась. Дел теперь у нее было невпроворот. Во-первых – генеральная уборка квартиры, которую она совсем забросила. Во-вторых – рынок. И там все самое лучшее и свежее: рыба, мясо, овощи, ничего мороженого, все парное и с грядки. В-третьих – обед, обильный, из трех-четырёх блюд, с десертом, как когда-то раньше, когда они с мужем ждали нечестных гостей. А в-четвертых – косметичка, парикмахер, педи-

кюр. Боже, как она себя запустила! А гардероб? Все старое, немодное, убогое. Разве это жизнь – то, что было у нее все эти годы? Скука смертная – журналы, бесконечные сериалы, грустные романсы на старых пластинках, творог на завтрак и ужин, старые джинсы и хвост на затылке. А оказывается, все только начинается!

К вечеру квартира сияла, и сияла сама Милочка с новой короткой стрижкой и ярко-красными ноготками на ногах. Ужин накрыла в гостиной – кружевная скатерть, свечи, столовое серебро. На ужин – судак по-польски, цветная капуста под сыром, крохотные пирожки с мясом, желе с фруктами, крушон. Надела легкую галабею и крупные серьги с бирюзой. Посмотрела в зеркало – и осталась довольна собой, даже очень. На нее смотрела прелестная хрупкая и красивая женщина средних лет. Анатолий пришел к девяти, замотанный, усталый, – она предложила ему ванну с розовой пеной.

Затем они долго ужинали при свечах, а потом была еще одна бессонная и счастливая Милочкина ночь. Так продолжалось все лето – по будням. В пятницу вечером Анатолий уезжал на дачу к жене, и Милочка отдыхала и, конечно, грустила. Бродила по квартире, не находя себе места, тосковала, плакала, опять слушала грустные романсы, куталась в шаль. А к вечеру воскресенья оживала. Ведь завтра наступит понедельник! Мучило еще то, что денег за август Анатолий ей не давал, а спросить, естественно, ей было неловко.

В двадцатых числах августа он заехал очень взволнован-

ный и сказал, что, видимо, они будут съезжать с дачи, так как роды уже близко и оставаться за городом становится опасно. И еще с усмешкой добавил, что и их истории подошел конец и он уверен, что они были друг другу полезны и наверняка не жалеют о времени, проведенном с пользой для обоих.

Милочка сидела оцепенев, опустив глаза в пол. Потом тихо спросила:

– Значит, встречаться мы больше не будем?

Анатолий почти возмутился:

– Ты о чем? У меня жена вот-вот родит! Роддом, ребенок, коляски, кровати! Ты что, не понимаешь, что мне будет не до тебя? И не придумывай себе ничего такого. Скажи еще спасибо, время неплохо провели, вроде должна быть всем довольна. – Анатолий откинулся в кресле и хохотнул.

– А деньги? – побелевшими губами прошептала Милочка.

– Какие деньги? – удивился Анатолий. – Или ты считаешь, что я тебе что-то должен? В твоём возрасте за это приплачивают, дорогая. И вообще, сидишь тут в антиквариате, как сыр в масле – дача, квартира, удовольствия, – и еще денег хочешь. Некрасиво получается!

– Уходи, – твердо сказала Милочка.

– Уйду, не волнуйся, не задержусь. – Он встал и вышел, громко хлопнув дверью.

До вечера Милочка так и просидела в кресле. А потом набросила на халат жакет, спустилась в гараж и завела мотор «жигуленка». Утром ее нашел сосед – уже почти остывшую.

А через неделю у Анатолия родилась дочь. По странно-му стечению обстоятельств его жена назвала дочь Людмилей, хотя производных у этого имени много: девочка могла оказаться и Люсенькой, и Людочкой, и Люлечкой – совсем необязательно Милочкой.

В общем, закон природы: если где-то что-то убыло, то в другом месте обязательно прибудет.

# Зика

Сейчас, оглядываясь назад, я со стыдом вспоминаю, каким наглым, невоспитанным и циничным подростком была. Откуда? И это у моей-то интеллигентной и терпимой мамы, жалеющей всех и вся не только на словах, но и на деле, немедленно спешащей на помощь всем, кто в этом нуждался. Впрочем, отца, как и меня, раздражали ее бесконечные одинокие и несчастные родственники и подруги.

– Убогие к тебе льнут, – неприязненно бросал отец. Но он-то, в отличие от меня, проживший жизнь, это принимал.

Поддержку и понимание в мамином доме находили многие, и одной из них была Зика. На самом деле она, конечно, была не Зика, а Зинаида Романовна. Но прозвище, которым я называла ее в детстве, прочно прилепилось к ней до конца ее жизни. Зика была дальней маминой родственницей, какая-то седьмая вода на киселе, и, думаю, если бы Зикина жизнь сложилась более или менее благополучно, мама бы так ее не опекала и не привечала.

В детстве я Зику милостиво терпела, а подростком с кривой физиономией и мерзкой улыбочкой принимала ее жалкие дары – пакетик сосучек «Барбарис» и шоколадный батончик с царственным названием «Пралине». Вручив мне это и поохав, как я выросла и похорошела, Зика и мама уединялись на кухне, где мама обязательно кормила Зику обедом,

а потом они долго, часами, пили чай.

Зика удивлялась:

– А почему Танечка с нами не обедает?

– Она поздно завтракала, – отмахивалась мама. На самом деле она боялась моих козней и хамских выпадов.

По-моему, Зика всегда была голодной и много ела.

– Она же большая, – оправдывала Зику мама.

Она и вправду была большой, точнее, крупной, не полной, но широкой везде – в бедрах, плечах, с крупными руками и ногами и небольшой головой. Седые волосы она убирала в неряшливый пучок, из которого вечно торчали и волосы, и шпильки. Зика любила сарафаны – скучные, коричневые или серые, прямые, с поясом, а под них надевала блеклые штапельные блузочки. Обувь у нее была без каблука, тоскливая, похожая на мужскую. Сумку свою, вытертую, непонятного бурого цвета, она называла «радикюль». Из этого самого доисторического «радикюля» она и доставала свои дары – батончик «Пралине», пакет барбарисок и шоколадку маме.

Зика любила куриный суп, и бедная мама со вздохом доставала из морозилки дефицитную в те нелегкие годы пухлую венгерскую курочку, а я злилась и представляла, что эта самая курочка вполне могла быть румяным цыпленком табака с чесночинами в ножках, а не грустно бултыхаться в бледном бульоне с морковкой и вермишелью. Зика съедала две тарелки супа и заодно полкурицы. Если мне совсем нечего было делать, я нагло возникала в дверном проеме и делала

«большие глаза». Типа: ну вы, Зинаида Романовна, и жрать здоровы. Зика смущалась, краснела, а мама пыталась замять неловкость. Ей было за меня стыдно. Потом она ругала меня, а я с ангельским взором удивлялась – а что я такого сделала? – доводя маму до слез. Что я знала тогда о жалости и сострадании? Что я знала о Зике, о ее нелепой и печальной судьбе? Да что я вообще тогда понимала в жизни?..

Потом Зика стала приходить реже, она подолгу болела, и навещала ее уже мама, с неизменным термосом куриного супа. А однажды, мне было тогда лет восемнадцать, заплаканная мама сказала, что Зика умерла и что надо идти на похороны.

Я заверещала:

– Кто мне твоя Зика? Кладбища наводят на меня тоску, и вообще у меня сегодня важное свидание.

Мама долго увещевала меня, но я ее не пожалела и на похороны не пошла. Совесть меня совсем не мучила. Какая там совесть, ведь у меня было столько неотложных дел! А спустя полгода на мое имя из нотариата пришло письмо, в котором сообщалось, что однокомнатная квартира на улице Островитянова – комната семнадцать метров, кухня восемь метров – завещана мне и что я должна явиться на оформление наследства.

– Вот видишь, – сказала мама и заплакала. – А ты ее даже не хоронила. Стерва ты, Танька!

– Ну я же ничего этого не знала, – вяло оправдывалась я.



Квартира оказалась пыльной, заброшенной (а какой она могла быть?), с нищенской мебелью и низеньким пузатым холодильником на «спартанской» кухне. Я таких не видела. Мама сказала, что этот холодильник они с отцом подарили Зике в шестьдесят четвертом году. Здесь вообще было царство бедности, даже нищеты.

– Что ты хочешь? – сказала мама. – Ведь она всю жизнь проработала в школе библиотекарем. Бедность была такая, что она покупала две морковки и две луковицы на неделю.

На стареньком трюмо с потрескавшейся полировкой стояли фотографии: моя молодая мама, я, еще ребенок, в трусиках в горох и с большим бантом на голове, а на третьей фотографии был запечатлен довольно фактурный мужик в фетровой шляпе и длинном пальто. Наличие моей фотографии меня удивило, а мама, видя это, с укором заметила:

– Она тебя любила и считала своей внучкой, а ты...

Мне, кажется, впервые стало стыдно.

– Я ничего не знала, – растерянно бормотала я.

– А что ты вообще о ней знаешь? Ты же никогда и ничем не интересуешься. Стыдно, Таня.

– Стыдно, – согласилась я. – А что делать?

– Послушать меня наконец, вот что. Дай сигарету, – попросила мама.

Я удивилась: мама покуривала крайне редко, только при сильном душевном волнении, да и то потихоньку от меня.

Мама кивнула на фотографию мужчины в фетровой шля-

пе:

– Так вот, это – Зикин муж, Таня.

– У Зики был муж? – удивилась я. – А я-то думала, что она старая дева.

– Ты правильно думала. У Зики был муж, и при этом она была старая дева.

– Как это может быть?

Моему удивлению не было предела, а заинтриговать тогда меня было непросто. Мне казалось, что я все знаю про этот мир.

– Так не бывает, – настаивала я.

– Бывает. Он был мужем Зики один световой день.

Ее просватали, когда ей уже было за тридцать. Просвата-ла старая тетка Люба, главная сплетница и сводница нашей тогда еще большой семьи. Жениха звали Владлен, он был хорош собой, но абсолютная бездарность и никчемность. К тому же он был не москвич, и ему до зарезу требовались в Москве и прописка, и жилплощадь. А так он перебивался у разных баб. И надо сказать, ему везде были рады. Словом, типичный альфонс. Зика влюбилась в него сразу и намертво. Ее можно было понять. В ее жизни не было ни одной самой пустяковой женской историйки. А ему было все равно: Зика не Зика, главное – прописка. Это все понимали. Кто-то открыто возмущался, кто-то тихо негодовал, а кто-то подхи-хикавал, с удовольствием ожидая развития событий.

Свадьбу решили сыграть дома – тогда мы все, включая

Зику, жили в одной большой коммуналке на Петровке. Готовили всем миром. Ольга Алексеевна пекла торты, Сусанна колдовала над сациви, мы резали салаты. Глупая Зика не желала ничего слушать и хотела праздника на всю катушку. Моя мама, твоя умнейшая бабушка, видя все это, мудро рассудила: ну пусть хоть раз в жизни у этой дурехи будет праздник. А еще она захотела белое платье и фату. Мы вздыхали, но ничего не могли с ней поделаться. Соседка Рита сшила платье из голубоватого шелка и маленькую фату. Голубое платье – единственный компромисс, на который согласилась упрямая Зика. Катерина Павловна сообразила на Зикиной голове подобие «халы». В общем, и смех и грех. Но Зика была счастлива.

В комнате у Клавдии (а у нее была самая большая комната) накрыли столы. Жених пришел в черном костюме с «искрой» и гвоздикой в петлице. Цветов невесте он не принес, и меня отправили в Столешники срочно исправлять ситуацию. Удалось достать слегка пожухлые желтые гвоздики. Зика об этом не знала.

В загс мы с мамой не пошли – не хотели до такой степени участвовать в этом фарсе. После загса все уселись за столы, жених ходил и оглядывал квартиру, а Зика рдела от счастья под голубой фатой. Когда крикнули «горько», жених вежливо прикрыл эту «лавочку» – дескать, не дети, куда уж нам при всех целоваться. Он даже не пытался сделать приличный вид.

На свадьбу к Зике пришла наша дальняя родственница Элька. Та, что сейчас живет в Америке. Хорошенькая, тоненькая, молодая. Зеленый глаз горит, рыжие кудри по плечам. Вот с ней-то жених и «зажигал» весь вечер. И надо сказать тебе, парой они были красивой. Пока Владлен танцевал с Элькой, Зика тихо сняла фату и принялась убирать со стола. Потом я увидела, как она моет посуду на нашей двадцатиметровой коммунальной кухне.

Расходились с этой невеселой свадьбы за полночь. Я видела, как заплаканная Зика понуро шла к себе в комнату. Кто-то из соседей, уже сильно под градусом, пытался выяснить с женихом отношения, обидевшись за Зику. Завязалась драка – в общем, обычное дело. Потом все опять выпивали, пели, ну, а дальше я пошла спать. Утром я застала бабушку, курящую у окна.

– Что-то не так?

– Все. Ночью этот гад ушел к Эльке, у нее и остался. Пойду помогу Зике собрать его вещи.

За вещами незадачливый молодожен вернулся на следующий день. Зика молча отдала ему чемодан, не сказав ни слова. О том, как она страдала, можно только догадываться. Она даже не выходила из своей комнаты, и чай бабушка ейносила, и горшок за ней убирала. Лежала она два месяца, потом бабушка привела к ней старенького врача-гомеопата и по часам стала ей давать пилюльки. От чего? От больной души.

Что ее подняло? Волшебные шарики старого доктора или

известие о том, что Владлен повесился после того, как рыжая Элька стала его прогонять? Но похоронами озабоченная Зика уже занималась вовсю, серьезно утверждая, что она его вдова. Она его и хоронила, все оформив и за все заплатив. Похоронила Владлена в нашей семейной могиле в Вострякове, где лежат наши предки, не самые пустые, надо сказать, люди. Бабушка пыталась не позволить ей это сделать, но потом уступила, в очередной раз пожалев дуреху. Только памятник отдельный ставить ему так и не позволила, ограничились надписью. Зика ходила на кладбище исправно всю свою нелепую жизнь – раз в две недели. Убирала, конечно, все могилы за общей оградой. В конце концов, это было всем удобно.

– А Элька? – прошелестела я.

– А что Элька! У Эльки все прекрасно. Из молодой рыжей красотки она превратилась в рыжую сухую, типично американскую старушонку. Замужем она была раза три, и все мужья, надо сказать, были приличные и небедные люди. У нее дом в пригороде Нью-Йорка, два, по-моему, неплохих сына, куча внуков, ездит по всему миру, в общем, жизнь удалась. Так что не знаю, что там и где эта кара Божья, не знаю, не понимаю.

Мама вздохнула и встала с шаткой и скрипучей Зикиной кушетки.

Домой мы ехали молча. Что творилось у меня на душе! И стыд за себя, и боль и обида за Зику, и презрение к красавцу

альфонсу, и ненависть к рыжей Эльке. Пожалуй, это была первая бессонная ночь в моей сознательной жизни. Первая ночь, которую я провела в терзаниях и муке.

А спустя полгода я выскочила замуж, и мы с моим молодым и веселым мужем с треском сдирали старые Зикины обои и выкидывали старую мебель во двор. Я оставила только фотографии молодой Зики с застенчивым взглядом, с круглыми, наивными глазами, и большой фарфоровый чайник с розовыми пионами – память о ней.

Когда родились мои дети, Зикину квартиру мы обменяли на большую, естественно, с до-платой. Так не осталось от Зики ничего. Хотя как это «ничего»? А пузатый перламутровый дулевский чайник, в котором мы завариваем чай до сей поры? И еще – еще память, боль, стыд, жалость и благодарность в моем уже поумневшем сердце...

# Испуг

Опять выехали с дачи поздно – и, как следствие, постоянно торчали в пробках. Полинка кусала губы от злости. Раздражало все. С начала и до конца. С самой первой и до самой последней минуты.

«Надо разводиться, – подумала Полинка. – Это не жизнь. Это мука. Я не девочка, все понимаю, все бывает. За десять лет так надоешь друг другу – хоть вой». Но у всех – то так, то этак. А у нее, у Полинки, плохо всегда. Это потому, что не любила. Никогда.

Замуж вышла – время подошло. Все подружки уже с колясками по двору мотаются, глаза мозолят. А она все порхает. Допорхалась до двадцати пяти. А тут – Павлик. Стройный, кудрявый, симпатичный. Умеет брюки гладить и картошку жарить. Где еще такого найдешь, когда тебе уже не семнадцать? Провожал до дома – не терся, не потел. На майские родители уехали на дачу – все и случилось. Ничего особенного, но не противно. Бывало и похуже. В августе сыграли свадьбу.

Мать Павлика всю свадьбу прорыдала – чуяла, видно, что жена из Полинки будет никакая. Жить стали у Павликовой бабки в двушке на Варшавке. Бабка была противная, вредная, Полинку невзлюбила и все стучала свекрови, что сноха ничего не готовит и не убирает. Не жена, а так, барахло. Так

и говорила – барахло. От возмущения и обиды Полинка задохнулась, а потом, поостыв, подумала: а ведь бабка права. И решила не обращать на них внимания. На всю эту семью. Включая Павлика.

А ему хоть бы хны. Вечером придет с работы, картошки нажарит, котлет накрутит: «Садись ужинать, Поль! Хочешь, щи сварю, а, Полинка?» А Полинке все равно. Вари, не вари... А потом сядет и на гитаре начнет бренчать. Весь вечер – «Солнышко мое». И смотрит на Полинку, улыбается. «Идиот. Это я-то солнышко? – злорадно усмехается Полинка. – Ну-ну!»

Через два года родила девочку. Павлик умолил назвать Полиной. Полинка говорила, что это бред, но ей было приятно. А Павлик радуется: хоть одна из Полинок будет его любить. Что ж, наверное, прав. Дочке и стирал, и гладил, и готовил, и гулял в выходные. Бренчал ей свои песенки, когда та плакала, – ничего, замолкала, слушала. В общем, была у них полная идиллия.

Бабка девочку полюбить не успела – померла. Образовалась целая отдельная двухкомнатная квартира. Павлик сам сделал ремонт. В спальне (а теперь у них была спальня) обои розовые с золотом – любимый Полинкин цвет, а в детской – ежики в охотничьих шапочках. Зачем им гостиная? Полинка гостей не любила – готовить, убирать, ну их.

Дочка получилась в Павлика – улыбчивая и кудрявая. Вот они и спелись. Они вместе, а Полинка так, сбоку вроде бы и



ни при чем. Кто рожал? Обидно, да ладно. Сначала Полин-ка часто плакала – от всего: от обиды, от жалости к себе, о жизни, которая не удалась. Потом плакать надоело. Что изменится? Только выплачешь свои карие глаза, свою красоту – сколько ее осталось?

Павлик устроился на хорошую работу – двери обивать. Непрестижно, зато денег много. Приходил усталый, но все равно веселый и опять не жаловался.

А Полинка жаловалась – целый день стирала.

– А что машинка делала? – удивлялся Павлик.

– И борщ целый день варила.

– Так долго? – опять удивлялся Павлик.

– А соломкой все нарезать, а потушить? – распалялась Полинка.

Павлик вздыхал и соглашался:

– И вправду, Поль, тяжело.

Через год взяли домработницу на два раза в неделю – убрать, погладить. У Павлика совсем не было времени. Он теперь открыл свою фирму, дверную. Хозяином стал. Сначала – фирму, потом – магазин. Сначала – один, потом – второй. Потом поменяли квартиру – старый центр, четыре комнаты. Полинке-маленькой наняли няньку. Полинке-большой купили шубу из бобра и еще одну – из белой норки. Длинную и короткую. Съездили на Мадейру. Мадейра как Мадейра. Посмотришь – в жизни у Полинки все изменилось. Но никто не знает, что, в общем-то, не изменилось ничего. Все – как

было. А она-то знала. И продолжала злиться на жизнь и на Павлика заодно.

Павлик закурил и открыл окно. Полинка поморщилась. Ветер был в ее сторону и относил на нее весь дым. Павлик выбросил сигарету. Потом начал напевать «Yesterday». Безукоризненно. У него был абсолютный слух. Полинку передернуло, и она включила радио. Громко. Павлик качнул головой и усмехнулся. Потом он резко затормозил, и не пристегнутая ремнем Полинка резко подалась вперед.

– Аккуратней нельзя? – прошипела она.

Павлик, извиняясь, показал на идущую впереди машину. Полинка отвернулась к окну, да так, что от угла поворота разболелась шея. Но позы она не меняла. Хотела от Павлика дистанцироваться.

– Слушай, Польша. – Она ненавидела, когда ее называли Польшой, особенно Павлик. – Слушай, а может, нам развесть, а? Ну сколько ты будешь еще мучиться? Ты же еще молодая, встретишь человека, будешь счастлива, а?

Полинка замерла. Говорил он все это так обыденно и спокойно, что ей стало не по себе. Но она не отвечала, ждала развития событий.

Павлик замолчал и через минуту опять стал напевать шлягер битлов. «Пробивает, – почему-то облегченно подумала Полинка. – Ваньку валяет, смелый какой, разведется он, как же».

Она крепко сжала губы и опять начала злиться, сама не

понимая на что.

– Нет, правда, Поль, это же не жизнь, это мука. Мне тебя, ей-богу, жаль по-человечески, – мягко журчал Павлик, глядя перед собой на дорогу. – Да и потом, мне тоже не сладко твои страдания видеть. И вообще у меня есть человек, ну, женщина, в общем, и я ее люблю.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.